

Егор ИСАЕВ

ПУСТЬ ЛЕТАТ ЕГО ЖУРАВЛИ

К 60-летию со дня рождения Михаила АЛЕКСЕЕВА

ИЗ ВСЕХ москвичей Михаил Алексеев, можно сказать, дважды москвич — москвич как житель Москвы и москвич как главный редактор большого одноименного с Москвой журнала.

И все-таки, все-таки... Когда я однажды спросил Алексеева, где ему лучше всего пишется, он, нисколько не задумываясь, ответил:

— Конечно же, в Монастырском... И не только пишется — чувствуется, думается лучше. Во всяком случае, острее, резче... Но это не значит, что легче. Скорее, наоборот... — И, откинувшись на спинку стула, вдруг загадочно улыбнулся и стал в этой улыбке, в этом свете чем-то очень похож на того самого Максима с Выборгской стороны, в которого мы, помню, деревенские дьяволята, играли так же самозабвенно и взросло, как играли в легендарного Чапая. Тот же чубчик на сторону, те же — полудужками — глаза с лукавинкой-озоринкой, тот же с курносинкой короткий нос и, конечно, конечно же, вот эта его — больше к мысли, чем к лицу — улыбка.

Признаюсь, я знал эту улыбку и потому ждал: что же за ней последует?

А последовало вот что: Алексеев как-то сразу потемнел и медленно, словно прислушиваясь к своему голосу, произнес чуть ли не по слогам:

— Экология... Какое все-таки холодное это слово! Мертвое. Э-ко-ло-ги-я. Но это только с поверхности оно мертвое. А изнутри кричит. Кричит, как тот журавль кричал.

Да, да, так и сказал: «кричал». Не трубил, не курлыкал, а — «кричал».

И тут я — по ходу его рассказа — увидел родное село Алексеева — Монастырское. Увидел не только в слове, но и за словом. Увидел речку Медведицу в разливе. А за Медведицей, по низкому, топкому берегу — лес, залитый весенним солнцем и неглубокой натаившей водой, а в том лесу, на небольшой полянке, тоже залитой до краев водой и солнцем. — лодку, а в лодке, под безлистным еще, могучим дубом, стоял он...

Он ждал журавлей. Как детства, как юности ждал. Ждал третье утро. Приплывал сюда, к дубу, и ждал.

Но их почему-то не было. Почему? Почему?! Почему!!!

Ведь им давно пора. Вот сезень — ж-жик, ж-жик! — пролетел. Вот утка — кря, кря! — отозвалась. Да и вода вроде начинает спадать. Пора! А их нет, нет и нет.

И вдруг...

— Лучше бы этого «вдруг» не было, — вздохнул Алексеев и долго потом глядел на ту сторону Арбата, как за реку. — Сначала-то я подумал, что это Чапа летит, а приглядевшись: он! Но почему один? Так у журавлей не бывает — один. И лишь когда он вот так — кр-р-р-у! кр-р-р-у! — низко прошел надо мной... Раз прешел два. Три прошел... Я уговорил себя: он. Он — сам себе ведущий и сам себе ведомый. Спереди и сзади — один. Где же это он, — с болью подумал я тогда, — друзей-то своих порастерял? Беда ли какая случилась или еще что?..»

И тут я увидел самого Алексеева.

Нет, не того Алексеева, которого давно знаю и к которому уже давно привык, а совсем другого — неожиданного, незновшего себя в чем-то и в чем-то незновшего друзьями. — увидел мальчишкой в его раннем —

холодном и голодном — сиротстве, увидел школьником в деревенской школе, от доски читающим ломким голосом стихи Некрасова:

— Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок — Невеселая дорога... Эй! садись ко мне, дружок!

Увидел старательным студентом Аткарского педагогического техникума... А потом, потом...

Потом я его увидел там — в огне и в дыму, в ненависти и в скорби, в крови и в пепле... Увидел там — на всем том поминутно смертельном и каждодневно изнурительном, но победном пути от Сталинграда до Орловско-Курской дуги, от Орловско-Курской дуги — через Румынию и Венгрию — до Косовой Горы, под Прагой Увидел храбрым в бою и нежным, доверчивым в дружбе и любви. Увидел памятливым и благодарным.

И не порастерял он их, своих фронтовых друзей, нет. Их просто многих поубивало — вот он куда попал, тот одинокий журавль. Попал в самую что ни на есть болевую точку старого солдата.

А еще я увидел Алексеева в Вене — там я тоже тогда служил, — увидел за ночным столом, маленького в маленькой комнатке на какой-то там из штрасс: капитан, военный газетчик, он отважно бросал себя на тернистый путь писательства — писал свой первый роман «Солдаты».

Ах, как же он страдал тогда, Алексеев! Страдал сразу всем: и безопытностью, и талантом. Да, да, я не оговорился — именно галантом Страдал больно и сладко, как страдают любовью, как страдают красотой. Страдал вдохновенно, преданно, глубоко.

Знающие люди говорят, что литература — это в общем-то всегда о ком-то и о чем-то: о войне и мире, скажем, о любви, о дружбе, о пастухе и пастушке, о петухе и кукушке... Согласен, но только отчасти. Это, скорее, взгляд читателя, но не писателя. Для него, для читателя, литература действительно во многом определяется этим — подчеркиваю — тематическим «О» Более того, чем оно, условно говоря, это «О» круглее — то есть чище в слог, слаженнее в стиле, соразмернее в композиции и естественнее в характерах, — тем оно доступнее в чтении и яснее, глубже в восприятии.

Но это, повторяю, для читателя.

А вот для писателя угол, так сказать, приложения энергии несколько иной. Проще говоря, читатель читает, а писатель создает. А это — большая разница! Ведь для того, чтобы создавать, надо не только увидеть предмет, о котором ты пишешь, но и аду-маться, вчувствоваться в него, войти в его объем — войти и заговорить о предмете из недр самого предмета. То есть из войны заговорить войной, из любви заговорить любовью, из



Михаил Николаевич АЛЕКСЕЕВ.

человека заговорить человеком — заговорить с нерва, от мозговой клетки, от сердца, от души. Словом, для писателя «Из» куда мучительней в работе, чем «О». Проинформировать всегда легче, чем изобразить, выразить. В этом и лежит отличие между журналистской деятельностью и деятельностью писательской.

Помните, у Есенина:

Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.

Не о поле рассказать, а полем рассказать поле. Рассказать не пером, а как бы веткой, колосом рассказать, рассказать не словом в буквах, а словом в зернах. А это и значит, как я уже сказал, выстрадать.

И Алексеев страдал, выстрадал свой роман.

И — чудо! — слово уже не просто шло на страницу, а давало свое лицо, свой жест, свой характер и — еще большее чудо! — становилось живым человеком — скажем, тем же Семеном Ваньным, весельчаком и балагуром, в чем-то родственным Теркину, тем же Петром Пинчуком, бывшим до войны председателем колхоза и любимшим землю, работу на земле не хуже, можно сказать, самого Терентия Мальцева, тем же Шахаевым — парторгом, личностью весьма и весьма прочной и цельной — прочной физически и духовно, тем же Узаровым — командиром разведчиков... И, наконец, слово это становится под пером писателя не взводом там, не ротой просто, а уже целой гвардейской дивизией во главе с генералом Сизовым, становится полем боя, фронтовой дорогой, становится личной судьбой каждого героя — жизнью либо смертью — и общей судьбой, судьбой всего советского народа, не для себя только ценою великих жертв победившего фашизм.

И, надо сказать, роман получился. Хороший роман получился. Пошли статьи, рецензии, письма. А на приеме в Союз писателей даже Фадеев счел нужным похвально отозваться о романе Алексеева. Словом — успех. Но в чем, в чем он, этот успех, все, естественно, опре-

деляли по-разному. Одни говорили — в языке, другие — в особенности ситуаций, третьи — в ракурсе взгляда на войну... Я же лично считал и считаю, что успех этот во многом зависел от тональности романа, от его стиливого тембра. И когда мне, например, рекомендуют какой-нибудь роман как роман острый, я чувствую себя по меньшей мере обескураженным. Почему? А потому, что острыми могут быть приправы, а не сама пища. Острыми могут быть очерк, статья, фельетон, но чтобы роман!.. Роман, если это действительно роман, — он, как правило, должен быть глубоким. А если уж острым, то опять-таки в глубину.

«Солдаты» Алексеева — именно такого типа роман. Насколько заострен, настолько же он и глубок в своей заостренности. Как бы там и что бы там ни было, он даже в самых нейтральных ситуациях светится изнутри добром.

То же самое можно сказать и о еще более сильном в художественном отношении романе Алексеева «Вишневый омут», охватывающем своим пристальным повествованием целые десятилетия жизни нашей деревни. Главная мысль этого романа такова, как он ни силен, пещерный мрак собственничества, лицемерного в образе Гурьяна Савкина — местного богача, отвратительно безнравственного во всех отношениях человека, — свет, свет, глубокий свет добра, носителем которого является антипод Гурьяна Савкина — Михаил Аверьянович Харламов, красивой души человек, мощный телом и духом, — свет, свет человеческого труда, а значит, истинного достоинства, все-таки сильнее мрака. И сила эта выступает в романе не только в образе Михаила Аверьяновича, она выступает еще и в образе — да, да, именно в образе — вишневого сада как символа красоты и брезжащей вдали социальной справедливости. Этот образ не только лирический, но и философский.

А теперь о читателе.

Принято считать, что в произведении — любом произведении — всегда столько действующих лиц, сколько их насочинил автор. Но это в плохом произведении. В хорошем — всегда на одного, героя больше. Причем не на какого-то там побочного, а самого, что называется, центрального. Этот герой — взыскательный читатель. Он читает, как любит, как негодует, как действует. Но тут, как я уже сказал, все зависит от того, захватит — не захватит.

Алексеев, например, захватил, и он прислал автору восторженное письмо, касаемое «Вишневого омута». Вот что он писал, в частности:

«У Вас деревня многоцветная многозвучная, на великолепном фоне природы, в которой Вы разбираетесь любовно, отточено. Вы знаете и голоса птиц и названия растений так, как ни из какого ботанического или орнитологического атласа не узнать. Вы с природой заодно, не наблюдатель, а участник ее дел. Поэтому прекрасны Ваши утра и вечера на

лугу над рекой и в лесу. И тут нет искусственности литературных украшений».

О творчестве Алексеева высоко отзывались Шолохов, Леонов, Твардовский, Закруткин... Да и нам, его многочисленным почитателям, не грех отозваться.

Лично я его «Карюху» через три слезы читал — ах, как она человека человека учит, хотя речь-то в ней идет в основном о старой лошади, изработанной до основ в хозяйстве бедного крестьянина, о жеребенке Майке от этой старой лошади, о мальчишке, острее всех переживающем гибель жеребенка. Вся эта повесть написана на том самом «чуть-чуть», когда словом ее можно уже учить чуткости даже железо. И место ее, как ни странно, в ряду проблем НТР и в ряду нашей классики для детей.

Что же касается повести в новеллах «Хлеб — имя существительное», то тут тоже наше читательское спасибо Алексееву. В отличие от «Карюхи» она более, что ли, публицистична. Оно и понятно: послевоенная деревня, ее вопиющие проблемы, ее затянувшиеся нужды требовали большей глубины и резкости если не в решении, то хотя бы в пристальном рассмотрении их. И оружием этой глубокой резкости у Алексеева зачастую проявляют себя сарказм и горькая шутка. Образ улицы Председателевки, улицы, на которой поселились — дом к дому — все председатели, в разное время и по разным причинам отстраненные от руководства, — больше чем красноречиво говорит сам за себя. Но Алексеев и тут старается не сгущать краски. Образ колхозной Марфуши-Журавли, образ ее скорбной любви и нежности женской как бы перекрывает негативные стороны жизни села, бросает свой тихий свет добра на затемненные болью и нерадивостью людской страницей этой замечательной повести.

Особо хочется сказать о последнем романе Алексеева «Ивушка неплакучая». Чувствуется переключку: Журавушка — Ивушка? Это не случайная переключка. Это переключка двух родственных в переходе женских сердец, переключка двух героинь внутри одной темы — темы жизни послевоенной деревни. А что значит по Алексееву послевоенная деревня? Это значит — деревня без войны, но в тени войны, в полосу ноющих к непогоде ран, омоченных горькими слезами похоронок, болью скрипучих костылей, в зоне пережитого, но не зажившего, в глубине страданий человеческих. Разрушены и сожжены во всем жесте были не только город, село, порушены и искривлены были отношения между людьми, их всевозможные связи... Замечнее всего это проступало и кричало в деревне. И надо было, где это только можно, поскорее как-то наладить, где развязать, а где и перевязать узелки, завязанные войной, — вот вкратце о чем новый роман Алексеева, по справедливости удостоенный Государственной премии СССР.

Недавно я зашел к Михаилу Николаевичу Алексееву в редакцию. Он был очень чем-то озабочен. Я заинтересовался: чем?

— Как «чем»? — удивился он. — Очередной номер журнала готовлю. Всякие там недоделки устраниваю... — И вдруг как спохватился, вспомнив о чем-то: — А знаешь, журавли-то прилетели! По телефону вчера позвонил в Монастырское и узнал: прилетели. Все-таки он не один теперь, тот журавль, теперь их много! Экология, брат!

Я молча порадовался его радости и хорошо подумал: молодец он все-таки в свои шестьдесят! Молодец!

Пусть летят его журавли.